



## **ЕГОРОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1923-1992)**

### **ОБ АВТОРЕ**

Георгий Васильевич Егоров пришел в литературу с немалым жизненным опытом. В детстве он не раз слышал рассказы своего отца и его товарищей о гражданской войне на Алтае, будучи взрослым, работал грузчиком, трактористом, шофером. В годы Великой Отечественной войны командовал конным взводом разведки, в мирное время сотрудничал в районных газетах, в редакции «Алтайской правды».

Десять лет работал над «Книгой о разведчиках», которая написана на основе военного дневника. Рассказывая о фронтовиках Великой Отечественной войны, автор упоминает имена бывших учеников Сузунской средней школы № 1, своих соклассников (в 1937-1941 годах Егоровы жили в нашем рабочем поселке).

### **СТАРЫЙ ПАТЕФОН**

В книжках часто можно встретить, что, мол, вот музыка растрогала до слез такого-то великого человека. Я не верил. То есть допускал, что великого – может быть. Но что

касается не великого – сомневался. Еще куда ни шло, согласен был, что послушать иную песню приятно, что энергичный марш прибавляет сил, взбудораживает, гонит быстрее по жилам кровь. Но чтобы плакать – такого не доводилось видеть, а тем более самому пустить слезу – считал это слякотьством и вообще недостойным серьезного современного человека. И все потому, что убежден был: дескать, по – натуре я человек самый современный, крепкий (не толстокожий, а именно крепкий – всяким таким нежностям не подвержен, чем и гордился втайне).

Но то, что произошло со мной осенью сорок второго года под Камышином, перевернуло все мои представления о музыке и о собственной натуре.

Шли последние дни бабьего лета. Ночами выпадали заморозки. Утрами долго серебрилась по обочинам улиц не успевшая еще пожелтеть мурава. В опустошенных огородах свалена в кучи картофельная ботва. Только на межах кое-где стояли будылья полыни да оголившиеся, со скрученными и потемневшими, словно обваренными, листьями кустики черного паслена. А днем солнце изо всех сил старалось пригреть землю и все живое на ней.

На второй или третий день после прибытия в госпиталь в поселок Красный Яр под Камышином я пришел на перевязку. Госпиталь размещался в двух деревянных

зданиях школы. Перевязочная была в главном, а мы жили во вспомогательном помещении. Я занял очередь, вышел на крыльцо и сел в сторонке. В беседке напротив трое разведчиков из команды выздоравливающих в пестрых пятнистых шароварах крутили старый патефон.

Первая же пластинка, которую они поставили, была самой моей любимой. Этот романс постоянно пел мой школьный друг Толя Братцев. Помню так отчетливо, будто сейчас это происходит. Ночь. Тихие кривые улочки родного поселка. Небо над головой бархатно-черное, и мигающие звезды на нем, как переливающийся бисер. И голос Анатолия, сочный, раскатистый. Поет Анатолий, запрокинув голову. С упоением поет, словно из души в душу тебе перекладывает. И видится все вокруг в ином, чем обычно, свете – как будто ты сменил дымчато-синее стеклышко, через которое только что смотрел, на нежно-розовое, веселое. Чувствуешь, как у тебя расправляются плечи, как ты становишься красивее, мужественнее. Превращаешься в такого неотразимого сердцеда, по которому вздыхают девушки, особенно ... Зина Киус из девятого «б» ... Это, наверное, она, наказанная за свое высокомерие, раскаивается: «...их много, в конвертах разных ... письма я сожгла твои ...» А все-таки грустно вдруг становится оттого, что она сожгла твои письма. Берегла бы, перечитывала их, роняя на скупые, мужественные

строчки слезы, и от этого строчки бы расплывались ... Расплывались ...

И вдруг все оборвалось. Какие письма? Какие строчки? Ничего же этого никогда не было – ни слез, ни печки, в которой она жгла письма, ни самих писем, ни... Нет, Зина Киус была. Гордая, со вздернутым носиком, стремительная и насмешливая. Но она же ничего не знала, не догадывалась, что я украдкой на переменах смотрел на нее. О каких письмах могла быть речь – подойти поговорить с нею духу не хватало. Так и разъехались после окончания школы. Уехал-то, собственно, я. Она осталась. Наверное, работает где-нибудь. Вот бы теперь написать ей!левой рукой, каракулями. Дескать, раненый, правая рука на перевязи. Раньше, мол; не решался, а теперь я уже другой, смерть лицом к лицу видел, поэтому и решил написать, может, не увидимся больше... может, уб...

Что такое? Ах, пластинка уже давно кончилась. Какую-то симфонию завели. Все сидят, слушают. Один из разведчиков устал и уставился немигающими глазами куда-то вдаль. Другой подпер кулаком подбородок и замер, глядя в щелястый пол беседки. Третий смотрит на рыженькую медичку с серьезной, задумчивой пристальностью. Наверное, каждый думает о своей Зине Киус...

А что, правда, взять и написать? Написать о первой бомбежке, как я... Нет, это не стоит.

Про лейтенанта нашего разве написать, как он под бомбами ползал и успокаивал нас, зеленых птенцов, подбадривал? А при чем тогда я? Я ж подвиг хотел совершить. Даже не один! Где они, эти подвиги? ...

А симфония душу бережит... Может, не симфония? Может, то, пережитое, взбудоражилось? Но ведь ни с того ни с сего не взбудоражится. Когда пришел сюда, сел на крыльцо - не было этого. А теперь вот что-то заняло в душе, защекотало, хочется вспоминать, снова переживать пережитое. И почему-то кажется это пережитое таким уж романтическим! И даже тот труп, разваленный надвое,- первая воочию увиденная мною страшная смерть, от которой волосы зашевелились у меня под пилоткой,- теперь уже не казался столь ошеломляюще страшным.

Нет, все-таки это страшно. Даже сейчас, если отчетливо вспомнить, да еще представить (как я тогда представил), что мог я быть на его месте, - мороз по коже пробегает...

Как-то меняется настроение: то торжественно на душе, то вдруг страшно. Может, потому, что душа борется с музыкой - музыка хочет возвысить твою душу, приподнять ее, дать ей крылья, а ты привык ходить по грешной земле и смотреть себе под ноги ... А в душе все решительнее и настойчивее пробуждается неведомое - просторное, светлое, словно обновляется в ней что-то, делается

чувствительнее.

-А патефонишко надрывается. Нет, это не патефонишко, это душа надрывается, переполненная самыми острыми впечатлениями, свежими, не за рубцевавшимися, всего лишь недельной давности. Всего неделю назад прошел я по краю пропасти. По самому краю!.. Даже сейчас испарина выступила на спине от той мысли, которая оглушила меня тогда, во время «игры» с немецким снайпером. Снайпер охотился за мной, а я его дразнил - высовывался из окопчика и снова прятался. Пули чвыкали по брустверу, и мне за шиворот сыпалась земля. И вот тут-то меня вдруг холодом обдало; а если не успею присесть? Пуля-то влепит прямо в лоб... И снова, здесь уже, на крыльце, - явно не от симфонии - меня передернуло.

А музыка льется, греет. И опять хочется вспоминать, хочется обо всем, обо всем написать Зине Киус. Может, после этого она не будет пренебрежительно дергать плечиком и отворачиваться от меня. Непременно станет раскаиваться, что равнодушно проходила когда-то мимо ... А почему она должна раскаиваться? Что я сделал, чтобы она вдруг обратила на меня внимание? Из жалости? Не надо жалости. Так чего же ты хочешь? Где твой подвиг, о котором ты мечтал? Подвиг...? Подвиг был бы, я бы этого снайпера снизил, если бы не проклятая кухня. 51 уже приблизительно выследил, где он замаскировался, тот снайпер. Только рассвета и ждал, чтобы взять его

на мушку. Не вышло. Определил он меня - раньше подкараулил, чем я его. И все из-за кухни.

Незадолго до рассвета командир взвода послал нас с товарищем встретить кухню и привести ее к окопа м. И мы подались, не сообразив, что с немецкой стороны нас, наверное, легко за метить на фоне безоблачного неба. Я шел справа - ближе к траншеям, товарищ слева от меня. И он, этот снайпер, ударил разрывной пулей по ногам. Мои ноги не задел, а товарищу голень разворотил. Когда я его перевязывал в темноте, то ощущал в липкой крови множество острых костей." Потом мы решили ползти. Я тащил его изо всех сил. Но продвигались медленно. И чтобы не застал нас рассвет на высоте, на видном месте, решили встать и вдвоем на трех ногах быстренько спуститься за бугор. Поднялись. Товарищ обвил рукой мою шею, я подхватил его за пояс и". Не успели мы сделать двух шагов, как чем-то тяжелым (почему-то показалось мне, что сырой-пресырой осиновой дубиной) ударило меня по правому плечу, сбило с ног.

- Ты чего? - испуганно спросил товарищ.

Я пошевелил рукой. Рука не двигалась. Наткнулся на свою винтовку - цевье у нее расщеплено.

- Кажется, я ранен".

-Ну, теперь нам не выбраться,-

обреченно сказал товарищ.

И вдруг услышал чей-то тихий, спокойный голос:

— Эй, ребята, давай сюда".

От своих мы были уже далековато. Я приподнял голову, осмотрелся. Не дальше, чем в десяти метрах от нас виднелась воронка. Голос явно исходил оттуда.

— Дуй, если можешь... А потом — меня...

Я еще не знал, могу ли двигаться. Но все равно вскочил и стремительным броском — не зря все-таки обучали этим коротким перебежкам! — кинулся к воронке. За те несколько секунд, пока я бежал, два раза снайпер выстрелил по мне, но, видимо, торопился — промазал.

Я кубарем свалился в огромную, из-под тяжелой авиабомбы воронку. Там сидели трое пожилых минометчиков.

— Я ранен, — выпалил я.

Наверно, это было видно и без моих слов. Усатый минометчик комично сgrimасничал и в тон мне воскликнул:

— Да ну-у?!

Я опешил. Он, должно, уже выдавший не таких раненых, спокойно велел:

— Показывай, где пригрело.

Я скинул шинельную скатку, левой рукой через голову захватил за шиворот гимнастерку, стащил ее вместе с нижней рубашкой, глянул на плечо. Оно было вздутое, сизоватое, спереди

дырка с рваными краями. А из дырки парок идет, и - ни капельки крови...

-А почему крови-то нету? - спросил я с дрожью в голосе.

Разрывая зубами индивидуальный перевязочный пакет, усатый наставительно пояснил:

- Это, парень, у тебя с перепугу.

- У меня товарищ вот тут рядом лежит, - сообщил я. - Ногу ему перебило. И кухню нам надо привезти.

А он, этот усатый, с возмутительной неторопливостью, будто на колхозной мельнице в очереди, а не в полусотне метров от переднего края, тянет слова:

- Не все сразу, парень... Сперва тебя перевяжем, а потом... Он руками-то держаться может?.. Ну вот. Притянем его на вожжах... Винтовку, говоришь, расщепило? Стало быть, под каску целил. Повезло. Спасла тебя винтовка. А то обошелся бы без перевязки. Что касасямо кухни, об этом пусть теперь у старшины голова болит. У вас свои заботы: как выбраться отсюда...

Он старательно забинтовал мне плечо. И вдруг участливо, уже без тени иронии, посоветовал:

— Ты вот что, сынок. Пока еще совсем не рассвело, выбирайся отсюда. Вот в этом на правлении, левее подбитого эшелона, и во всю мочь бегом до ложбинки, авось не попадет. Днем тут головы высунуть нельзя - три пулемета шпарят по этому месту. А за товарища не

беспокойся, это мы сейчас.

Он смотал в кольцо вожжи, выполз на край ворони и (воронка настолько глубока я, что в ней можно было стоять в полный рост).

- Эй, парень, ты где? Руками держаться можешь? Держи вожжи. Под мышками обхватись концом-то...

В ожидании, пока товарищ мой обвяжется, обернулся ко мне.

— А ты рот не разевай. Давай наяривай!

Я выскочил из воронки и что было духу зигзагами приурезал к ложбинке. А по спине мурашки!.. Секунда, вторая, третья - нет выстрела... Еще бы столько!!! Балка совсем рядом. Еще -рывок ! Споткнулся и кувырком через голову - на спину, а потом - набок и покатился. Задержался чуть ли не на самом дне.

— Фу-у! - Долго не мог перевести дух.

Сердце колотилось где-то у горла, звенело в ушах. Дышал, дышал, дышал. Сколько я лежал, не знаю. Стало совсем светло. Надо идти. Поднялся и побрел по балке. Рана не болела нисколько. Подумал: ну, если всегда так ранят на фронте -это не страшно." И вдруг по- чувствовал, как по боку стало разливаться тепло. Заглянул -по штанам текла кровь. Заныло плечо. Боль быстро усиливалась. Пытался найти удобное положение для руки, чтобы боль прекратилась. Но все было бесполезно. Стала кружиться голова. Поташнивало.

Я еле добрел до первого попавшегося

перевязочного пункта.

Не успел подойти к палатке, где перевязывали, как какой-то военный без знаков различия в петлицах вдруг протянул руку передо мной.

— А где ваша винтовка?

— Какая винтовка?

— Ваша. Которую вам выдавали.

— Там она, — раздраженно показал я здоровой рукой назад. — Разбило ее.

— Раз пришел сам, значит, и винтовку принести должен.

— Расщепало ее!

— Пойдите и принесите расщепанную.

— Да разнесло ее в щепки! — Я начинал уже кричать. — Да вы знаете...

Меня кто-то настойчиво потянул за левый рукав. Я выдернул руку. Меня потянули снова и более настойчиво, оттеснили от военного.

— Ты чего раскипятился? — зашептал мне в лицо раненный в руку боец.

— А чего они, сидят тут в тылу, понимаешь...

— Ты погоди. Тоже мне фронтовик нашелся. — Он действовал на меня своим спокойствием, как гипнозом. — Винтовку, говоришь, надо? Пойди, походи здесь. Принеси.

— Где это здесь? — Я никак не мог понять его.

— Ну, здесь. Вот между повозками. Погляди, сколько их здесь. Вон видишь, спит под телегой добрый молодец, а винтовка тебя

дожидается в сторонке... Удивительно, что тогда у меня хватило выдержки пройти мимо того, без знаков различия в петлицах, молча и бросить «свою» винтовку в общую кучу. А он меня не признал в веренице раненых. А может, только сделал вид, что не признал...

Сестра осмотрела мою повязку, похвалила того усатого - правильно наложил, подбинтовала еще, чтобы унять кровь.

— Идите вон в тот лесочек, - указала за железную дорогу ... Там санбат, у них автомашины, отвезут вас в госпиталь в Камышин.

И я побрел, заплетаясь ногами. Километра три надо было идти. Дошел. А там не только санбата - запаха его не было. Я обругал сестру заочно. Посидел на пенечке. Не идти же обратно! Поплелся дальше по степи на северо-восток. И не я один. Много легкораненых (я тут впервые узнал, что я легкораненый) брело по степи, держась подальше от больших дорог, по которым шло много машин. Мне объяснили, что где много машин, там и немецкая авиация рыскает. И мы тащились по степи под палящим солнцем, без капли воды, без куска хлеба (вещмешок-то с сухарями у меня остался в окопе на передовой).

Тошнота не проходила. Тряслись колени. Кружилась голова. Все это, наверное, от потери крови.

Медленно отдалялся грохот фронта. Где-

то справа ухали бомбы, вздрагивала под ногами земля - значит, действительно бомбили колонны автомашин...

Я шагал и думал: вот и побывал на фронте. Рвался, рвался сюда. А теперь остался от него в голове артиллерийский грохот, трескотня автоматов, винтовочная пальба, вой сирен пикирующих бомбардировщиков. Ничего толком не понял. Кругом смерть, смерть, как мошкара в знойный день на болоте, и запах от трупов. А над всем музыка, душераздирающая. Нет, музыка - это сейчас, из беседки, от старого патефона. Это она, симфония, окрашивает в свой цвет то, что я вспоминаю, вернее - куда она меня только что увела...

Я шел по степи, по знойной степи с сотнями и тысячами таких, как я. К вечеру раненые подтягивались к шоссе. Брел и я за всеми. Ночью нас подбирали попутные автомашины, и мы ехали десяток-два километров. А утром - снова в степь. Почему-то после всего пережитого на передовой не тянуло опять под бомбежку...

Страшно хотелось есть - больше суток во рту маковой росинки не было. Пить я еще пил в деревнях, а поесть просить стеснялся. И вот в одной деревушке, когда от голода уже не было силы передвигать ноги, я, наконец, решился, постучал в тесовую калитку. Вышла пожилая женщина. Она чем-то была похожа на монашку - вся в черном, прямая и строгая.

-Тетенька, - дайте, пожалуйста... попить... -  
Так и не насмелился произнести то слово, которое неотступно вертелось в голове.

Она вынесла в железном ковшике воды. Пил я вяло, с трудом - меня уже мутило от воды. Старушка смотрела на меня печально.

-Тебе, должно, поесть надо, сынок, а не попить? Я поспешно закивал головой.

-Много ноне раненых идет, все раздали. Тыква у меня есть пареная. Будешь?

Я, растроганный бабкиной догадливостью, с трудом сглотнул подступивший к горлу комок и снова закивал.

Хозяйка вынесла половину огромной душистой тыквы. Я опустился на скамейку у калитки и с жадностью набросился на нее. Что может быть вкуснее пареной в русской печи тыквы! Старушка стояла у калитки, прислонившись спиной к стояку и, подперев щеку пальцем, жалостливо смотрела на меня. Время от времени она смахивала с морщинистой щеки выкатившуюся слезу. Я же не смахивал своих слез - я их не замечал. А может, их и не было в тот раз. Может, они были после, может, только сейчас на крыльце они появились - скорее всего, именно сейчас, их просто музыка выдавила...

Неделю добирался я до Камышина.

Сестра эвакогоспиталя только вздохнула тяжело - повязку на моем плече уже нельзя было размотать - она, пропитанная кровью, превратилась в панцирь. Щипцами, которыми

гипс снимают, резали ее. А там - черви. Белые, толстые, короткие. Копошатся... Раствором перекиси обрабатывала рану сестра - пена поднялась. А зуд! Аж ногами сучил от нетерпения. Не выдержал, выхватил у сестры пинцет со шматком ваты и стал скрести плечо. Сердце зашло, чуть со стула не упал...

И вот сижу на крыльце, жду перевязки. Признаться, не жду, я забыл о ней, потому что нахожусь в тумане то ли от слез, заставших глаза, то ли от забытья, закрывшего мне все сегодняшнее. Все мысли там, позади, разбрелись - от Зины Киус до последней бомбежки санитарного поезда, вышедшего ночью из Камышина по направлению к Красному Яру. А музыка рвет душу...

И ни одной мыслишки о будущем - все в пережитом.

Разве знал я тогда, сидя на крыльце, что через полгода, в марте сорок третьего, после победы над сталинградской группировкой немцев, судьба снова приведет меня туда же, на станцию Котлубань, уже разведчиком, с медалью «За отвагу» на груди. И отыщу я ту воронку, в которой перевязывал меня усатый минометчик. И с прежним волнением новичка буду искать среди пролежавших здесь целую зиму, а теперь вытаявших трупов своего товарища, втайне надеясь не найти его. И я его не нашел — значит, выжил он, значит, эвакуировали его. А вот усатого минометчика встретил. Много трупов

лежало вокруг, очень много. Пулеметное гнездо, залитое водой, чистой, прозрачной снеговой водой, сквозь которую видны красный от ржавчины «максим» и двое скрючившихся пулеметчиков на дне. Лежит пэтээровец, обняв свою бронебойку. Все лежат так, как глубокой осенью сорок второго застала их смерть, напоминая об одном из мгновений великой битвы... Лежит и усатый минометчик навзничь около воронки с еле заметной дыркой во лбу.

Но это я увижу через полгода. А пока сижу на крыльце и с благодарностью смотрю на старый патефон – какая, оказывается, сила заключена в этой ободранной коробке!

#### Источники:

1. «Сузун литературный. Из прошлого в настоящее» [Об авторе] / Сост. В. Зотычев. – Сузун, 2009. – С. 60.
2. Егоров, Г. Старый патефон // Книга о разведчиках / Г. Егоров. – Барнаул, Алт. Кн. изд-во, 1989. – С. 36-44.